

МАЛАЯ КНИГА С ИСТОРИЕЙ

Ф.М. Достоевский

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

ИЗ ЗАПИСОК НЕИЗВЕСТНОГО

ИЛЛЮСТРАЦИИ
ЕКАТЕРИНЫ БАВОК



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
МЕЩЕРЯКОВА
2019

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ВСТУПЛЕНИЕ

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нём так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смиреннее и на всё согласнее. Если б его вздумали попросить посерьёзнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довёз; он был так добр, что в иной раз готов был решительно всё отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновою костью, зубами, с длинным тёмно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное

воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся, по смерти матери, в одном пансионе в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил своё наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был ещё корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливая горькие слёзы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем её штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попраёков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идёт замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чём отказывает ей непочтительный эгоист, её сын, задумав непочтительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он по-

дозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во всё время своего с ней сожительста и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принуждён был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избежав суда и лишившись своего пенсiona. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разорённых душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живёт, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя саженными лакеями, которые никогда ничего от него не слышали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая своё имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и всё-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нём неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что, наконец, и сам поверил, что он эгоист, а потому в наказание себе и чтоб не быть эгоистом,

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между барином и слугой немедленно произошло объяснение.

– Выпорешь! ори ещё больше! – проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске.

– Что? что ты сказал? «Ори ещё больше»?.. грубиянить вздумал! – закричал толстяк, весь побагровев.

– Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова сказать нельзя!

– Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне и не взъедаться!

– Да за что я буду ворчать?

– За что ворчать... А то небось нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, – вот что.

– А мне что! По мне хошь совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.

– Кузнецам... А на кузнецов чего ворчать?

– А не на них, так на экипаж ворчу.

– А на экипаж чего ворчать?

– А зачем изломался! Вперёд не ломайся, а в целости будь.

– На экипаж... Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!

– Да что вы, сударь, в самом деле пристали? Отстаньте, пожалуйста!

– А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, – а? Говоришь же в другие разы!



ОН БЫЛ ЛЕТ СОРОКА ПЯТИ,
СРЕДНЕГО РОСТА, ОЧЕНЬ ТОЛСТ И РЯБ

воротился, пожелав представить меня сначала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на большой дороге и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он бросил и Коровкина и заговорил о чём-то другом. Я с наслаждением смотрел на него. Отвечая на торопливые его расспросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а продолжать заниматься науками. Как только дело дошло до наук, дядя вдруг насупил брови и сделал необыкновенно важное лицо. Узнав, что в последнее время я занимался минералогией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом, как будто он сам, один, без всякой посторонней помощи, открыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал.

– Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную знают! – говорил он мне однажды с сверкающими от восторга глазами. – Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь, а всё как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут польза, тут ум, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит... Ну да, наконец, и торговля, промышленность – эти, так сказать, струи... то есть я хочу сказать, что как ни верти, а полезно... Ведь полезно, – не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.

– Вот подожди, друг мой, подожди, – начал он, потирая руки и скороговоркою, – увидишь человека!



ОН ЧРЕЗВЫЧАЙНО МНЕ ОБРАДОВАЛСЯ;
РАДОСТЬ ЕГО ДОХОДИЛА ДО ВОСТОРГА

себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши; он плясал, как будто увлекаемый постороннею, непостижимою силою, с которой не мог совладать, и упрямо силился догнать всё более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения; и всё бы это шло хорошо и весело, если б слух о комаринском не достиг, наконец, Фомы Фомича.

Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником.

– Я хотел от вас только об одном узнать, полковник, – начал Фома, – совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота или не совершенно? В первом случае я тотчас же отстраняюсь; если же не совершенно, то я...

– Да что такое? что случилось? – вскричал испуганный дядя.

– Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет комаринского?

– Ну... ну что ж?

– Как ну что ж? – взвизгнул Фома. – И говорите это вы – вы, их барин и даже в некотором смысле отец! Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое комаринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холлоп? Он попрали самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только пол кабака! Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои



ФАЛАЛЕЙ ПЛЯСАЛ ДО ЗАБВЕНЬЯ
САМОГО СЕБЯ, ПООЩРЯЕМЫЙ КРИКАМИ
И СМЕХОМ ПУБЛИКИ...

выступило теперь наружу. Она не нагладелась на своё нещечко, впиалась в него глазами. Девушка Перепелицына, осклабясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно хлопотал.

– Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще. Ведь тебе послаще, Фома?

– Не до чаю мне вашего теперя! – проговорил Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув рукой. – Вам бы всё, что послаще!

Эти слова и смешной донельзя, по своей педантской важности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне любопытно было узнать, до чего, до какого забвения приличий дойдёт, наконец, наглость этого зазнавшегося господчика.

– Фома! – крикнул дядя, – рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

– Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, – проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания. – Вам о деле говорят, а вы – бог знает о чём... *трактуете*... Видели вы Фалалея?

– Видел, Фома...

– А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели. Можете полюбоваться на ваше произведение... в нравственном смысле. Поди сюда, идиот! поди сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не бойся!

Фалалей подошёл, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слёзы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

– С намерением назвал я его голландской рожой, Павел Семёныч, – заметил он, развалясь в кресле и слегка



ФОМА БЫЛ МАЛ РОСТОМ, БЕЛОБРЫСЫЙ
И С ПРОСЕДЬЮ, С ГОРБАТЫМ НОСОМ
И С МЕЛКИМИ МОРЩИНКАМИ ПО ВСЕМУ ЛИЦУ

с Настенькой. В глазах её были слёзы, в руках платок, которым она утирала их.

– Я вас искала, – сказала она.

– А я вас, – отвечал я ей. – Скажите: я в сумасшедшем доме или нет?

– Во все не в сумасшедшем доме, – проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня.

– Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь ушёл дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил: может быть, вы меня в чём-нибудь и наставите.

– Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.

– Да где они?

– А кто знает? Может быть, опять в огород побежали, – проговорила она раздражительно.

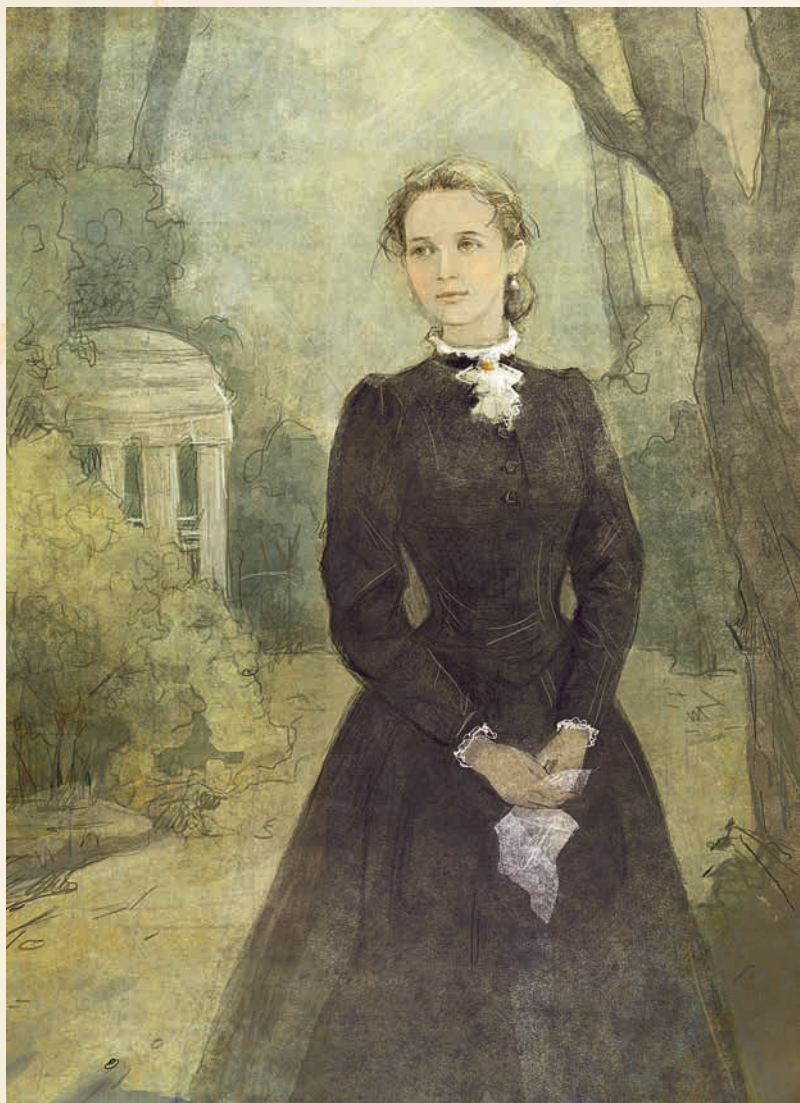
– В какой огород?

– Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород, достал в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились: не с ума ли сошёл? «Вот, говорит, чтоб не попрекнули меня потом, что я даром хлеб ел, буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня довели!» А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях стоят, заступ у него отнимают; а он-то копает; всю репу только перекопал. Сделали раз поблажку – вот он, может быть, и теперь повторяет. От него станется.

– И вы... и вы рассказываете это так хладнокровно! – вскричал я в сильнейшем негодовании.

Она взглянула на меня сверкавшими глазами.

– Простите мне; я уж и не знаю, что говорю! Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?



В ГЛАЗАХ ЕЁ БЫЛИ СЛЁЗЫ, В РУКАХ
ПЛАТОК, КОТОРЫМ ОНА УТИРАЛА ИХ

– Н...нет, – отвечала она, покрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в её милом лице.

– Вы извините меня, – продолжал я, – я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом... особенно с вами... Но всё равно! По-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь... то есть я хотел сказать... вы знаете намерение дядюшки? Он приказал мне искать вашей руки...

– О, какой вздор! Не говорите этого, пожалуйста! – сказала она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув. Я был озадачен.

– Как вздор? Но он ведь писал ко мне.

– Так он-таки вам писал? – спросила она с живостью. – Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!

– Простите меня, – пробормотал я, не зная, что говорить, – может быть, я поступил неосторожно, грубо... но ведь такая минута! Сообразите: мы окружены бог знает чем...

– Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите: я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь... Ах, какая досада! так он-таки вам написал! Вот этого-то я пуще всего боялась! Боже мой, какой это человек! А вы и поверили и прискакали сюда сломя голову? Вот надо было!

Она не скрывала своей досады. Положение моё было непривлекательно.

– Признаюсь, я не ожидал, – проговорил я в самом полном смущении, – такой оборот... я, напротив, думал...

– А, так вы думали? – произнесла она с лёгкой иронией, слегка закусывая губу. – А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал?